

# Книги вразнос. Что у нас переводят. И как

[276]

ил 2/2021

ЭКСПРЕСС-РЕЦЕНЗИИ ДАШИ СИРОТИНСКОЙ

ХАН ГАН *Человеческие поступки*. Перевод Ли Сан Юн. — М.: АСТ, 2020

ЛИ МУНЁЛЬ *Вспышки воспоминаний*. Перевод М. Солдатовой, Ро Чжи Юн, К. Пак, И. Цой. — М.: Текст, 2020

Среднестатистический русскоязычный читатель редко погружается в корейскую литературу глубже и дольше, чем на одну книгу, — и то время от времени, когда случается громкая новинка. Но корейских книг в наших магазинах все больше, и постепенно становится ясно, что это не просто книгоиздательская мода — все шире перед нами распахиваются ворота, ни много ни мало, в настоящую волшебную страну. Почему волшебную? Потому что здесь, в корейской литературе, возможно то, что невозможно в привычной нам литературе европейской. Как на другой планете в каком-нибудь старинном научно-фантастическом романе: все узнаваемо, но работает по-другому; вот они птицы на деревьях — но у птиц змеиные хвосты и, скажем, по восемь с половиной голов, вот они деревья — но на деревьях растут шоколадные конфеты, по воскресеньям с помадкой, а на Новый год — бог знает с чем еще, потому что Новый год бывает изредка, на 86 мартабря. Когда заходит речь о так называемых “экзотических литера-

турах”, принято разливаться соловьем: мол, не так уж все и экзотично: и страсти те же у героев, и слабости, и страхи, и выбирать им приходится между все теми же долгом и чувством, и любовь у них та же, и смерть. Все это, конечно, так и есть, и мы в этом скоро убедимся; но я бы хотела в первую очередь обратить внимание на те особенности корейской литературы, которые особенно меня поразили.

Вот передо мной две корейские книги — совершенно, сразу оговорюсь, разные. Первая — роман уже известной у нас (по “Вегетарианке”) писательницы Хан Ган “Человеческие поступки”, посвященный трагическому эпизоду южнокорейской истории — восстанию в Кванджу. Вторая — сборник рассказов “живого классика” Южной Кореи Ли Мунёля. Рассказы это ранние, а потому весьма разношерстные, экспериментальные, так что для неподкованного читателя этот сборник куда как полезен: сразу получаешь выразительный срез важнейших “корейских” тем, болезненных точек и стилистических метаний. И пусть

это всего лишь один автор, зато — из числа центральных.

Чтобы назвать “Человеческие поступки” романом, мне пришлось сделать над собой усилие. Конечно же, на самом деле это поэма, причем масштабная, всенародного размаха; скорбная песнь — не побоюсь высокопарной фразы. Причем в данном случае для меня неочевидно, насколько осознанным приемом является столь густое внедрение лирики в прозу: казалось бы, совершенно отчетливы в тексте и ритмизация, и поэтические вставки, и рифмующиеся образы в потоках сознания разных героев — но настолько все это неотделимо от всей книги в целом, настолько естественно для нее, как будто это “само собой” так получилось. Удивительно, но и у Ли Мунёля, автора, отнюдь не стремящегося заполнить текст какими бы то ни было “поэтичностью”, каждый рассказ очень внятно говорит читателю о том же: слова, которые ты сейчас читаешь, — это не те обычные слова, с которыми ты обращаешься к продавщице за прилавком или к водителю автобуса, это принципиально иная субстанция, это другое измерение. Из-за этой “отстраненности” корейского текста, из-за осознанной сакрализации слова как такового создается удивительное, давно уже позабытое нами ощущение, что чтение — это соприкосновение с особой, таинственной сферой бытия. Отсюда — та исключительная, почти постановочная серьезность, которую я обнаружила в обеих корейских книгах. Даже в рассказах Ли

Мунёля, претендующих на то, чтобы быть юмористическими (“Вспышки воспоминаний”, “Паноптикум идиотикусов”), весь юмор тоже эдакий театральный, условный. У этого юмора обязательно имеется какая-то тайная цель — высмеять несовершенство общественного строя, высмеять пороки героя, указать на слабые места человеческой природы в принципе. Привычный нам смех ради смеха, смех ради удовольствия здесь невозможен. Чего уж говорить о “Человеческих поступках”, если в центре внимания писательницы — национальная трагедия. Конечно, у нас умеют и национальную трагедию превратить в фарс, пародию, иногда даже и вправду смешную — и это мы знаем хорошо. Но вот способны ли мы по-прежнему создавать трагедии такого размаха и накала, чтобы они пробивались сквозь застывший гипс наших скептических всезнайских ухмылочек и потрясали по-настоящему? Едва ли, ведь трагедии наши стали частными, кухонными, а о трагедии всеобщей заикнуться либо боязно, либо не получается — и в любом случае над всем довлеет священная аксиома: “улыбайтесь, господа, улыбайтесь”.

И вот перед нами Хан Ган, которая не улыбается. Ни она, ни ее героини, ни даже духи героев — никто не улыбается на протяжении целых двухсот страниц. Мы должны отключить кнопку романтической иронии, которая у нас уже двести лет как беспрерывно оп, и пропустить через себя многомиллионную корейскую скорбь. Ге-

роев — чуть меньше десяти, но Хан Ган умело выстраивает связи между ними так, что становится ясно: паутина этих связей так неумолима, что в нее оказывается вплетен каждый кореец, а я, уже из России, вижу: чуть ли не каждый человек. Ведь почти каждый из нас или понаслышке, или не понаслышке знает, что такое борьба за свободу. Неважно, как давно эта борьба пережила самые драматичные свои эпизоды: тридцать, сорок, сто, двести пятьдесят или три тысячи лет назад. Она стала для человечества вечной темой — как семья, любовь, смерть, одиночество. Да и здесь, в “Человеческих поступках”, именно она вбирает в себя все остальное.

В центре паутины — мальчик Тонхо, погибший во время восстания. Есть люди, которые его любили, есть те, кого любил он; есть и такие, с кем он был не знаком или едва знаком; есть, наконец, те, кто вообще никак с ним, казалось бы, не связан — жители других городов, представители других поколений. Хан Ган бросает в воду камешек и следит за расхождением кругов, которые в конце концов подбираются и к ней самой. Есть в ее поэме “песни” нежные и пронзительные. Это исповедь духа погибшего друга Тонхо, который витает над горами трупов, сваленных после восстания за чертой города, — и хоть эта глава со всеми этими синеющими и чернеющими лицами и пожирающими их червями наиболее натуралистичная в книге, она же и самая поэтичная, и самая печальная из всех. Как так получается — опять-та-

ки загадка. Не говоря уж о том, что подобные загробные излияния у нас, как ни парадоксально, тоже ассоциируются скорее с литературой смеха, ну максимум — со всякими ужасниками. Для корейцев же, как видно, мир духов ничуть не менее реален, чем мир живых, а потому и писать о них можно с той же интонацией.

Другая пронзительная “песнь” — конечно же, монолог матери Тонхо. В нем нет такого надрыва, он написан даже, пожалуй, в светлых тонах — и тут, разумеется, опять сказывается мастерство корейской писательницы. При всей своей серьезности она не пытается выжать из нас кинотеатральную слезу, которую мы благочинно пускаем в конце популярной мелодрамы. Ее поэзия может быть и жесткой — как в главах о сломанных судьбах выживших участников восстания. Они, пожалуй, менее оригинальны и читаются хуже. Кромешный мрак, в котором живут эти персонажи, быстро начинает казаться утрированным, лишенным полутонов. Но, как бы то ни было, по всему тексту писательница, которая, в отличие от нас, явно любит своих героев одинаково, рассыпала живые, ошпаривающие детали. Одна героиня, как помешанная, каждый день звонит в городскую администрацию и требует выключить фонтан. Нигде напрямую не говорится, что возле этого-то фонтана и сваливали во время восстания мертвые тела, — а говорится только, что она каждый раз звонит и требует выключить, вопрошая: “Что за праздник такой, что льется во-

да?”. Другая героиня в восстании не участвует, зато собирает в мусорный мешок туфли своих подруг и ходит с этим мешком по больницам, пытаясь их разыскать. Третья — мать Тонхо — прогуливается по остывающему асфальту, который недавно положили рядом с ее домом, и греется. За всю главу, кажется, не появляется у нее темы более яркой, чем блаженство, которое она испытывает от этого тепла. А между тем глава эта о материнском горе — сильная, сокрушительная.

У Ли Мунёля, на первый взгляд, нет такой импрессионистичности, ассоциативности. Он писатель резкий, откровенный. Но рассказы его, как я уже упомянула, очень разноплановые: видно, что начинающий автор пробовал себя то в политическом иносказании (“Паноптикум идиотикусов”, “Халепа та кала”), то в психологической миниатюре (“Остров анонимности”, “Прохладное лето”, “Удачный день”, “Пиррон и свинья”), то в своеобразном околומистическом жанре, напоминающем романтическую новеллу (“Яблоки и пятеро солдат”, “Вы помните ‘Назарет’”), то — и это, на мой взгляд, лучшие вещи в сборнике — в буйном полете фантазии, шарахающейся то в постмодернизм, то в магический реализм (“Вспышки воспоминаний”, “Песня для двоих”). Ясное дело, все эти терминологические ярлыки, которые я только что повесила, — следствие типичного для путешественника стремления объяснить знакомым незнакомое. На самом деле природа рассказов Ли Мунёля наверняка лишь отчас-

ти соотносится с известными нам понятиями литературы. Вроде бы перевели для нас вполне себе русскими словами истории, которые могли бы произойти с каждым — про поездку на море, про сельскую школу, про драку в поезде. Но даже для рассказа, даже для зарисовки кажутся нам эти истории порой слишком незамысловатыми, фрагментарными — как любительская съемка или случайная запись на диктофон. Это будоражит воображение еще больше. Что же скрывается за диалогами этих обыкновенных, ничем не примечательных (не то что у Хан Ган!) героев? Может быть, такие же чувства испытывали читатели сто лет назад, когда впервые сталкивались с прозой модернистского “значимого отсутствия”. И хоть мы прекрасно знакомы как со значимым отсутствием, так и с отсутствием вполне бессмысленным — на иные рассказы Ли Мунёля даже не знаем, как реагировать. Поучительное ощущение, не правда ли?

Или вот рассказы совсем другого толка — заглавные “Вспышки воспоминаний” и “Песня для двоих”. Последний — настоящий смертельный трюк в программе внезапной и необузданной поэтичности корейской прозы. Ни с того ни с сего посреди спокойного, сдержанного сборника рассказов разверзается бездна такой неуправляемой образности, что волосы становятся дыбом. Всем любителям самых рискованных опытов литераторов XX века с вылавливанием стихотворных строчек из шляп и тому подобным — сюда, на страницу 163.

Я же, пожалуй, останусь на странице 34 и перечту тот единственный рассказ, который мне понравился уже совсем по-настоящему — “Вспышки воспоминаний”. Не менее смелый, чем “Песня для двоих”, смешной (вообразите себе), парадоксальный и по-прежнему ни на что не похожий. Автора занимает необычный, но очень важный вопрос — как уживаются фантазии с нашей жизнью, как они влияют на нашу судьбу. Тема безумия, к которой все это, казалось бы, ведет напрямую, не заявляется в лоб, но маячит на фоне постоянно. Эта двойственность заставляет вспомнить собственные фантазии, которые мы когда-либо принимали за реальность, заставляет почувствовать собственное сумасшествие — оно ведь таится в каждом, и Ли Мунёль, путая следы (да нет, герой не сумасшедший, это просто его окружают такие занудные ослы! конечно же, герой сумасшедший, а окружают его занудные ослы!

да что вы говорите такое, герой просто-напросто злодей!), — заставляет нас как-то совсем без околичностей это осознать.

Как же трудно назвать и объяснить то, что для тебя так ново, то, к чему не протоптали еще толком дорожек. Не знаешь, на что стоит обращать внимание, а что только кажется важным. Боишься погнаться за какими-нибудь необыкновенными инопланетными бабочками и проглядеть настоящее чудо. Находишь в фиолетовой траве знакомые маргаритки и незабудки — отмахиваешься: не за этим я сюда прилетела! А может быть, зря?

Но послушайте! Разве не ясно, что и в этой удивительной, новой для нас литературе мы со временем разберемся — корейские писатели и переводчики с корейского разучат с нами имена и дадут всему объяснение? Ясно и то, что мы будем скучать по тому времени, когда делали в этой волшебной стране свои первые шаги.